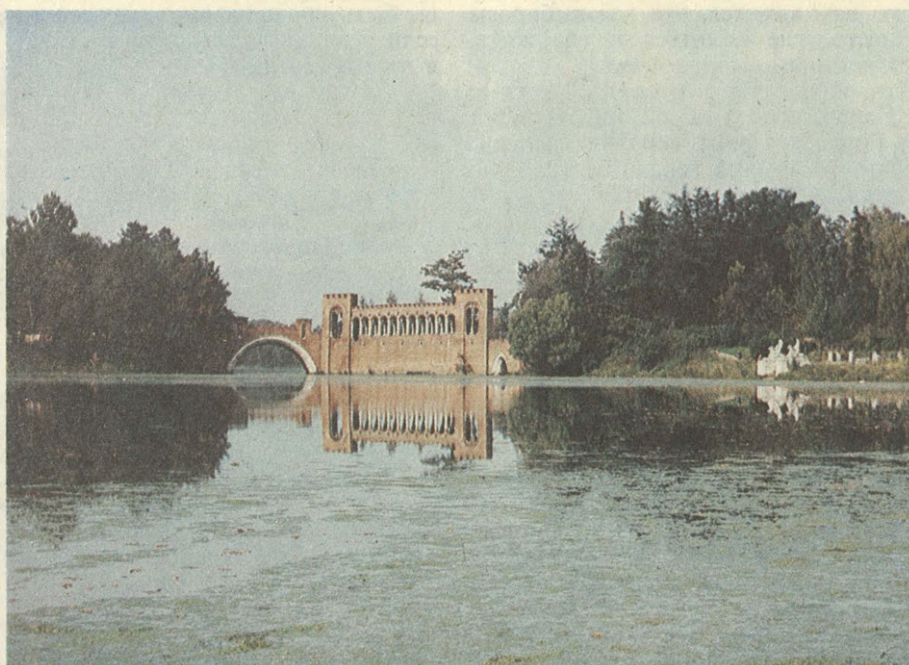


Мир русской усадьбы



← Подмосковье. Село Успенское.
Вид с Москвы-реки на усадьбу Морозовых.

Подмосковье. Усадьба Марфино.

Издавая номер альманаха «Мир русской усадьбы», мы знали, что вернемся к этой ностальгической теме.

Как писал Юрий Шамурин в 1912 году:

«В старых усадьбах, среди чуждых колоннад и классических барельефов, все же встает так много русских образов, близких и нужных: строки Пушкина особенно искренне и свежо звучат в старом парке, похожем на парк Лариных, ... всю элегическую красоту Тургенева, нежный, как Ланнеровский вальс, ритм его созданий, можно постигнуть в осенний вечер в запущенной усадьбе, под грустные крики улетающих журавлей, под лепет столетних лип...»

И для людей нашего времени близки и понятны чувства, с которыми написаны эти строки.

Дети дворян и рабочих — мы сегодня единственные наследники убывающей красоты.



Река Оредеж

Александр Семочкин

Фото автора

Это нам кажется, что мы выбираем место, где родиться и где жить. Местность выбирает нас.

А что определяет местность, метит ее собой? Город, скажет горожанин, и будет неправ. Горы или реки, гора или река. А города — по рекам или горам. Москва — по реке Москве, Псков по Великой, а Екатеринбург — по Уральским горам.

На великой горизонтали Русской равнины отсчет ведется вертикально. Гора считает вверх, речная долина — вниз. На этой оси — вся округа.

Но река обозначает не просто протяженную горизонталь. Она течет, и вот эта ее вода будет у устья к концу лета. Но ведь и так: река проходит сквозь нас — сквозь память, сквозь время.

Конечно, каждый помнит какую-то реку. Одну — с именем тихим и милым. И вот моя: она начинается разом, сотней родников в озерно-водном лабиринте под названием Урочище Донцо. Там кембрийские синие глины лежат на дне, и оттого вода кажется небывало голубой, и ладно бы, небо было синее, но небо серое большую часть года, и эта синяя вода... Там холмы с вересковыми пустошками, малые деревеньки, валуны и сосны.

Однажды мы попали туда в начале мая, в пору, когда природа пробудилась. Цвели синие перелески, розовая жимолость, белая ветреница, что зовется подснежником, и хохлатая медуница. Боже, как они цвели! Они делали это с такой радостью, с таким удовольствием, что хотелось поклониться этой земле, рожающей своих веселых и красивых детей. Черемуха еще готовилась залить все уводье пеной цветов, и еще не раздался тот громовой, с оттяжкой, шелк, после которого замолкает вся птичья мелкота. На двух протоках, которые, сливаясь у Заречья, образуют Оредеж, орали утки, а в воде, в неправдоподобной голубой воде, стояли (они стояли, а вода неслась вокруг) — напряженно стояли пятнистые форельки, тоже цветы, этакие орхидеи рыбьего царства.

Зеленые, круто-покатые холмы напоминают что-то полузабытое, но родное и далекое. «Весна священная» — конечно! У Рериха были такие холмы, да и какими

им быть, спрашивается, если это и есть они, если усадьба художника, Извара, отсюда в десяти верстах?

«Извара» на санскрите означает «земной рай» — странное, загадочное послание от Гималаев северной России.

Нынче в Изваре, в усадьбе — музей, а в Урочище Донцо — природный заповедник. Урочище Донцо — это юго-восточный угол огромной известняковой плиты, лежащей от Гатчины до Ямбурга — Кингисеппа и называемой Ижорским плато. Известняк желт и порист, вода проваливается сквозь него; на плато, на всех этих четырех тысячах квадратных километрах, нет рек, озер, даже пруды и болота не держатся на нем.

На карте Северо-Запада Ижорское плато опоясано ожерельем аквамаринов — это родники, группы родников, здесь начинаются все многочисленные реки, речонки и речушки региона. Известняковая плита, поглотив всю падающую на нее воду, выжмет ее из-под своего края — так состоятся Таицкие ключи, питающие парковые пруды Пушкина и Павловска, Гостилицкие ключи, поящие фонтаны Петродворца.

Как удивительно сцеплено все в этом мире! И вот бронзовый Самсон, раздирающий пасть льву, оказывается памятником несостоявшемуся озеру где-то близ Елизаветина, а дождю над Изварой предназначено крутить колеса мельницы на речке Пудости, где у мельника Иоганна уже родился, уже подрастает славный архитектурных дел мастер Андрей Штакеншнейдер. И каким образом может быть переброшен мостик на столетия назад? Только косая проекция петербургского дождя и способна на это. Сквозь него просвечивает небывалая золотая игла с парящим ангелом — Петропавловский собор, и вот он, другой мастер, Доменико Трезини, на другой мельнице, на Оредеже, в шлафроке у окна Заречьей своей мызы. Современники звали его Трезиним — странноватая, но почти русская фамилия, да и сам он считал себя русским в этой северной глуши, и о чем уж рокотали ему, итальянцу, эти голубоватые холодные воды — кто знает?

Мыза потом принадлежала господам Радыгиным и Черновым, генералу от ин-

фантерии Пахому Чернову, командиру 1-й дивизии 1-го отдельного пехотного корпуса, коим командовал Петр Витгенштейн, тоже ордежский, чья усадьба двадцатью верстами ниже по течению. Оба они славно послужили России в грозном 1812 году под Новополоцком и Бобруйском: обоих вынесли с поля боя, но корпус Мюрата не прошел к Петербургу.

Заречья больше нет, оно погибло в эту войну. Село ушло за горизонт—туда, где

и «Трезин», и Черновы, и сейчас над слиянием двух форельных проток висит его фантом, а на земле—печные трубы и остатки фундаментов. Еще одна точка на карте: здесь была жизнь.

Война обожгла эту землю, и боль ожогов сквозит через траву. Такие потери! Одних усадеб в округе погибло двенадцать; и есть среди них несколько, связанных с именами, которые знает мир.

А река устремляется от Заречья вниз,



Ленинградская область. Усадьба Безбородко

питая память и орошая собой траву забвения, эту зеленую корпию, под которой нарастает новая кожа взамен обугленной. Эдакий малый кровеносный сосуд на теле России, но столь жизненно важный для своего места.

Через десятикилометровый зеленый коридор Зарецкого заказника, где кабаны и рыси, а если очень повезет, можно встретиться с благородным оленем, — остатки некогда блестящих царских охот.

До Чикинских озер — два спокойных разлива, где вода прозрачна, водоросли зелены и окуни прожорливы и ленивы. Теперь это напоминание о тех недавних еще временах, когда Россия не знала океанской рыбы, имея в избытке пресноводную, речную и озерную. Как мало, по сути, нужно: чистая вода, и вот ее уже просто не извести, эту рыбу.

Некогда на берегу озера располагался медеплавильный и плотиный завод братьев Чикиных — предприятие солидное: военные заказы, посуда, бытовые изделия. Одни из первых, кстати, в стране, освоили заводчики алюминий, производя из него фляжки для армии — шла первая мировая война.

Но удивляет вот что: под боком завода, где листовая медь травилась горячими щелочами, — девятнадцать чистейших форельных прудов, в которых выращивалась этакая «подсобная» продукция завода. И что это за слово такое петушиное знали наши предки, чтобы одно не мешало другому?

Завода нет с послевоенных времен — его забросили, потом закрыли и местную ГЭС, заводские корпуса стояли без крыш и полуразрушенные. Лишь в одном прилепился

Рождествено. Фамильный склеп
Рукавишниковых



филиал Ропшинского института рыбного хозяйства: ванны с лососевой мелочью, лаборатория; остальные молча и с укоризной ждут своего часа. Нет и форельных прудов — заросли ольхой и красноталом.

Как будто невидимой ниточкой связаны были завод и форелька — пропало одно, исчезло и другое. А ведь будто и не злейшие враги друг другу промышленность и природа.

И действительно, не враги. Во всяком случае, пока эта промышленность помнит, что живет за счет природы, кормясь на ней. Скромное это нахлебничество природа терпит снисходительно и даже охотно. Все эти мельнички и лесопилки — сколько их было на реке? — десятки! — никакого ощутимого вреда не приносили. Напротив, именно мельничные омуты кишели рыбной молодью — с жерновов все что-нибудь да перепадет и водяному народу.

Жаль мельниц — их не осталось на реке. Жаль лесопилок, жаль сельских гидростанций, их на реке был целый каскад, все закрыты за «нерентабельностью». Жаль пекарен местных, где пекли хлеб из муки, молотой на тех мельницах. Жаль садов с пасаками — тот бы мед да на тот хлеб...

И резвит себя наша красавица дальше, где излучиной выгнув, где порожком хохотнув.

До самого славного сельца Батова, где впервые встанет над рекой небывалое крыло красного обрыва —

как замерший взмах,
как застывшее «ах», —

встанет, чтобы повториться теперь уже многократно, удивляя всякий раз разве что тем, как может один, даже диковинный красный песчаник быть так не похож на свое предыдущее.

Говорят, есть нечто похожее в долине Йелоустон, в Северной Америке. Обмен родством двух континентов.

А в Батове от этих ли обрывов, от стволов сосен или от красных амбаров на холме — розовый отсвет, постоянный и тревожащий. Позвольте представить Батово, одно из российских орлиных гнезд: Рылеев, Пушин, Бестужев-Марлинский, Кюхельбекер. Вот оно, гнездо, вернее его отсутствие, в конце длинной старой липовой аллеи. Дом погиб, сгорев еще в 1925 году, на его фундаменте поселились и живут ольхи да ивы, и перед ними — розовая гранитная плита: «Здесь, в усадьбе Батово, родился, провел детские годы и позже неоднократно бывал выдающийся поэт-декабрист К. Ф. Рылеев».

На самом деле никто доподлинно не знает, где родился Кондратий Федорович. Здесь, в Батове, Рылеевы живут с 1800 года: дар генерал-лейтенанта Петра Малютина, родственника и благодетеля, тогдашнего владельца всей округи.

Формально мыза Батова считалась проданной за пять тысяч, но денег этих Малютин с полунищих Рылеевых не взял, за что и были те ему благодарны навечно. Впрочем, долг красен платежом, и вот, по смерти Петра Федоровича, Рылеев становится опекуном его пятерых детей.

На молодежь имел он влияние необыкновенное: говорил горячо, ладно, некрасивое лицо преображалось, темные глаза горят... Вся оредержская дворянская молодежь им увлечена: и Константин Чернов, и молодой Михаил Малютин, и юный Левушка Витгенштейн — члены Северного тайного общества.

А уж как с тайнами этими повезло Кондратию Федоровичу и при жизни, и особенно после — он сразу превратился в личность легендарную, да и остается таковой поныне. Пospорить с ним в этом качестве может, пожалуй, только ближайший его друг и соиздатель «Полярной звезды» Александр Бестужев, ставший на Кавказе Марлинским. Все их поколение было немного помешано на мистике, предопределениях и роковых обстоятельствах, но то, что Рылеева сразу после казни народ объявил святым (были иконы соответственные!), а Бестужев после своей гибели обратился в самого Шамиля — факт поразительный даже для того времени.

Рылеевский миф продолжает жить: в Батове вам покажут пещеры, где скрывался поэт от николаевских жандармов и даже отстреливался, и уж, пожалуй, найдется знающий дедок, который объяснит, где в парке закопаны архивы тайного общества.

А вот, пожалуйста, аллея у самой воды и огромный валун, на котором уже оперт пушкинский дорожный сапог, и нервно прутиком хлещет по нему рука в перчатке, поджидая. Сейчас выйдет, застегивая сюртук, бледный Кондратий, сейчас принесут дуэльные пистолеты.

Еще одна легенда о «литературной» дуэли? Некоторые исследователи считают, что так все и было.

Усадьба генерала Малютина стояла на другой стороне реки, в деревне Даймище, такой классической деревне (сколько лент снято здесь Ленфильмом!), — впрочем, аккуратно разделенной на два конца: староверческий и «никонианский», даже кладбища разные. Это нашим предкам в укор, тем более что здесь, в Даймище, есть пример совсем другого свойства.

Здесь, в курганах-захоронениях XII—XIII веков, рядышком лежат славяне и угрофинны, те таинственные водичи Господина Велика Новгорода, по которым и пятина называлась Водская. Правда, вторые не совсем лежат, скорее сидят в своих курганах — таков обычай захоронения и потому так легко их отличить от славян.

Свидетельство это драгоценно сегодня,

поскольку каждый задаст себе вопрос: как пришли сюда в VIII—IX века наши предки, ильменские славяне, на эту, уже заселенную землю — с огнем и мечом, как позже соседи хаживали? Нет, мирно лежат рядом ижорец и словенин: на том оружии, кованное в Новгороде, на этом кика, шитая темным карельским жемчугом...

В усадьбе Малютина, вернее, в оставшихся к тому времени корпусах жил в 1914—1915 гг. художник Петров-Водкин; по стойкой местной легенде, именно тут явилось ему небывалое видение Красного коня. Остатки усадьбы погибли в войну; в Батове — птицефабрика, и парк Рылеевский, то, что от него осталось, зажат между этой махиной спереди, блоком очистных сооружений слева и поселком фабрики, состоящей из пятиэтажных инсул, справа.

Теперь, конечно, едва ли что изменишь, и все-таки жаль Батова — много ли в стране таких жемчужинок? Но пока люди русские будут помнить себя, они будут помнить Сенатскую площадь, 1825 год и Рылеева!

Сразу после Батова, за мостом, река преображается. Веселая говорушка и воркунья исчезает, как исчезли лужки с лютиками. Откуда что взялось — но перед нами строгая красавица в темном, и разговоры сменяет некая пиитетная молчаливость.

Реки Севера, красавицы Гипербореи! Даже под июльским солнцем холодные на глубине, как напоминание о вечности, и так похожие друг на друга в октябре: серое небо, серая тяжелая вода и лес берегов, запахнутый в серые плащи дождей. А то вдруг полыхнет сквозь малый просвет солнечный луч — и как точно падет в горсть изумрудов, старательно спрятанных в тайниках леса, казалось, уж навсегда...

В отличие от других рыб, лососи нерестятся осенью, и еще наши деды помнили, как река по октябрюм розовела кровью лохов, когда они, огромные и безумные, с уродливыми своими, скрюченными челюстями рвались вперед и вверх, сквозь пороги и плотины, взбираясь по водопадам и перепрыгивая через мосты, убивая соперников и сокрушая запруды рыбаков.

Нету, давно нету октябрьскими ночами этих хлестких ударов на реке, уже два поколения людей их не знает, но в те осенние ночи, когда дождь шелестит вкрадчиво, — душа ждет невесть какой памятью, прислушиваясь к шуму беспокойной, полнокровной реки, — ждет этого буйства, этого безумия, жестокого и прекрасного, как сама любовь.

Здесь река гулко проваливается в подземное русло. Подземное русло — это туннель в песчанике до шести метров в диаметре, и почти над ним, на старом новгородском тракте, — центр округи, погост «Велика Николы на речке на Грезне, Вод-

ской же пятины Велика Новгорода». Речка Грезна — приток Оредежа, а погост — это будущее село Рождествено, а пока, в столетия давние, стояла здесь церковка на холме и тут же был торг и вечевой колокол на столбе. Тут суд, тут и правед, тут хоро- воды, крестные ходы и призывы офеней: «А вот бусы лазоревы от стран басурманских...»

Надо полагать, бусы лазоревые были здесь не последним товаром, потому как бусы, а вернее бусины, колупнул обувок археолога в 1981 году, и недоумевал случившийся тут дилетант: как это североин- дийская ляпис-лазурь могла очутиться здесь, на окраине тогдашнего мира, на что и получил резонный ответ: «Торговали люди...»

Древний храм Велика Николы ушел под землю, провалился в одночасье. Случилось это, по местному преданию, в начале XVI столетия; скоро сюда явились новые хозяева — шведы, и по Столбовскому миру 1713 года они эту землю получили уже «на вечные времена».

Значит, храм ушел от иноземцев, этаким приневский вариант града Китежа. Свято- яр-озера, правда, здесь нет, зато река под землей. Пытались отчаянные головы ко- пнуть землюшу, поискать ушедший храм, только где его найдешь — внизу подземная река. Ал и серебрист песчаник, глухо и гул- ко молчат пещеры, только звон родничка и тук капели. Какой клубок легенд и преданий: тут тебе многокилометровые подзем- ные ходы, тайники и клады, а там выплы- вает миф о временах Мономаха, «запеча- тавшего» Русь четырьмя крестами...

А роднички в пещерах, каким-то обра- зом связанные с подземной рекой, словно озабочены сохранением предания, время от времени действительно выкатывают то монетку старую, то колечко.

Эпоха шведского владычества не оста- вила на этой земле ни одного материаль- ного памятника. Мало того, само деление территории на погосты и названия этих погостов были оставлены новгородские. Однако захваченное приходится отдавать — и вот в 1703 году произошло событие воистинно высокозначимое для этой мест- ности: из глухой провинции, только-только избавленной от захватчиков, она разом превращается в подстолбичную террито- рию, еще раз сменив имя — Водская пятина, а потом Ингрия стала Ингерманландией.

Нововозвращенные земли получают новых хозяев: район Саарской мызы (Островной хутор, будущее Царское Село) приобретает императрица Екатерина I, сама родом ингерманландка; село Хотчино с округой (будущая Гатчина) даруется любимой сестре царя Наталье Алексеевне; земли по реке Суйде, притоке Оредежа, получает генерал-адмирал Ф. М. Апраксин; земли бывшего Спас-Орлинского погоста —

Бутурлин, а Никольско-Грезневский погост становится вотчиной наследника престола, царевича Алексея Петровича.

Трагическая эта фигура накладывает на самую местность некий ореол мучени- чества, меж тем как царевич Алексей был, по собственному свидетельству, счастлив здесь, на этой земле, в своем свежесруб- ленном доме, со своими грядками гарлем- ских тюльпанов и с развешанными прямо на деревьях гроздьями колоколов, на ко- торых играть по праздникам был большой любитель и искусник. Образ жизни он здесь вел патриархальный — этаким домовитый хозяин, помещик, который знает тут все: что лучшее сено выходит с рыбицких за- ливных лугов, что ламповские бабы от- менно квасят капусту с тмином и что су- шенный боровик из села Большева — наилуч- ший продукт в своем роде.

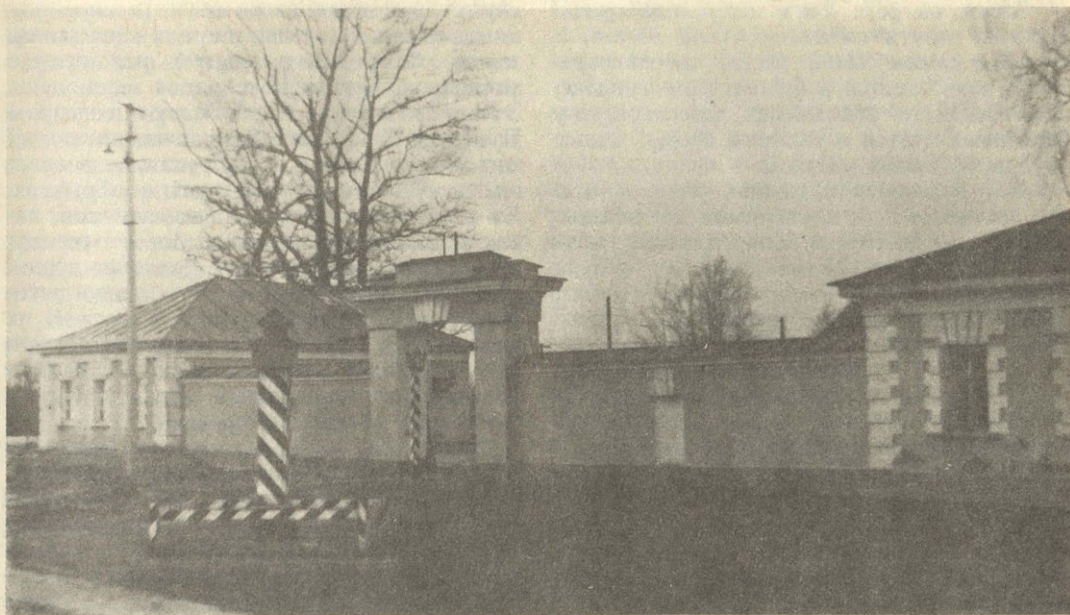
Какой, казалось бы, прекрасный объект для мифа, для легенды — царевич Алексей с его огромным (2 метра 18 см!) ростом, с его приверженностью заветам «отчины и дедчины». Однако нет, молва обошла его, великан отбросил крохотную тень в па- мяти народа, совершенно затменную ги- гантской тенью отца. Только литературные мифы сопутствуют имени царевича.

Но Алексей Петрович оставил след на этой земле нестираемый: именно он по- строил в 1714 году деревянную церковь во имя Рождества Богородицы, по которой и село стало называться Рождествено. Исчезла усадьба царевича, похожая на малый монастырь, исчезла и эта первая церквушка, но продолжает быть село Рож- дествено, убеждая нас лишней раз, сколь правы были средневековые авторы, считая анонимность лучшей формой сохранения имени.

Столь же неожиданно оказалось за- фиксировано и место, где стояла церковь: в екатерининское время герольдмейстер Волков включил этот холм, назвав его горой, в герб города Рождествена: «...а над горой облако, а из облака ударяет в оную гору луч, отчего она гора и прозябла».

Город Рождествен просуществовал не- долго, всего девятнадцать лет. Павел I, вошед на престол, повелел купцам и ме- щанам переселиться в Гатчину, ставшую городом, а Рождествен возвратился в сельское достоинство. И единственным, пожалуй, напоминанием об этих девят- надцати годах является церковь Вознесе- ния — ныне кладбищенская полуруина, а тогда центральный собор города.

Парящий же над рекой и селом бело- каменный красавец особняк появился поз- же, уже в начале прошлого века. Строи- ный по заказу канцлера империи графа Безбородко, он сегодня, похоже, являет собой лучший образец ампира на всем Се- веро-Западе России.



Выра. Почтовая станция

Оредеж в Рождестве круто поворачивает — почти назад, градусов на 150, как будто обжигаясь о впадающие в него воды речушки Грезны, со всеми ее тайнами, подземельями и кладами. Сначала этот поворот представляется случайным и малопонятным, и только взойдя на мост, а еще лучше, если смотреть с воды, делается ясным великолепный ход реки: так малыми средствами, одним ударом она создает классическую трехчастную композицию, объединенную водной гладью, — ту композицию, которая сразу заявляет о себе как о совершенной. Два рождественских холма из трех поддержаны, поняты человеком: на одном струит вверх свои белые колонны дворец Безбородко, на другом приподнялась краснокирпичная, с серо-голубыми куполами «новая» церковь, построенная в 1885 году. И невольно взгляд обламывается на третьем холме — подумает только, до 1926 года дожила здесь церквушка Алексея Петровича, к тому времени превращенная в кладбищенскую часовню. Ее отсутствие ощутимо прямо-таки физически.

Что ж, может, наши дети будут лучше нас и восполнят неполноту, пусть они, а не мы, — мы спешим и не умеем останавливать мгновения, как наши предки.

А они умели. Весь центр села и вот эта дрожжащая от напора воды плотина, и мраморный склеп в виде пасхи, и сама эта река: «илистая, тенистая, с именем милым, с именем, что камышовая тишь...» — все это давно положено в мировую копилку Владимиром Набоковым и принадлежит всем, кто его читает и почитает.

На высоком берегу, над плотиной ГЭС, — остатки двух парков, старого и нового, между которыми стоял на лужайке просторный двухэтажный дом, называемый Набоковым «наша Выра», хотя тут до Выры добрых два километра. Построенный в конце прошлого века, дом предназначался в приданое Елене Ивановне Рукавишниковой, и когда она вышла замуж за Владимира Дмитриевича Набокова, молодые поселились здесь.

После революции в доме был сельхозтехникум, потом в нем жили дети испанских республиканцев, в сорок первом стоял штаб немецкого командования, а потом был пожар, и дом сгорел.

Сегодня тут, как и в Батове, фундаменты, заросшие ольхой и черемухой и предчувствие памятника: «...Тень русской ветки будет колебаться на мраморе моей руки».

Строго говоря, фамильное набоковское гнездо с середины прошлого века — Батово; породнившись с Шишковыми еще при Николае Набокове (это прадед писателя), Набоковы наследовали Батовскую усадьбу и владели ею до революции. Рылеевский дом был перестроен, семья разрослась, и, женившись, Владимир Дмитриевич — Набоков-отец — обживает «нашу Выру», где в 1899 году, весной, появляется первенец Владимир — за тем, кажется, появляется, чтобы влюбиться в эту землю, как и положено, безответно, и воспеть ее, эту свою безответную любовь, с такой страдальческой силой, что она оказалась услышанной и на других, далеких от Оредежа берегах.

Здесь, на реке, есть места, где кроны деревьев почти смыкаются над водой, и когда в самом конце весны цветет черемуха, река несется в белом этом туннеле, сама белая от опадающих лепестков, а у береговых кустов и упавшей сосны — целые заторы из белых цветков.

Вот бурлящая в камнях теснина — все, что осталось от грезненской мельницы. Помню, когда-то она была: плотина, шум воды, грохот жерновов и решет, мучная пыль, сплошь осевшая на черных бревнах, суета людей — наверх мешки с зерном, «шешнадцатый» пошел!» — бас мельника сверху, и тут не зевай, подставляй мешки.

Наутро, дома, проснусь с ясным ощущением небывалого, и вот оно: светит солнце, сияет выпавший за ночь снег, трещит и гудит печь и — дух свежего хлеба, от которого колет под скулами и замирает в животе. И бабушка, вся распаренная от печи, протягивает ломоть, которого вкуснее не бывает, — ржаного пирога с морковкой.

С тех пор ощущение счастья и вкус этого пирога неразделимы. А теперь нет мельницы, нет и ржаных пирогов. И только — память.

Сосновый бор, Песчанка, принадлежал некогда господам Любошанским-Быковым. На высоком берегу, сухой и светлый, он прямо-таки приглашает к неспешным прогулкам и тихим беседам. Теперь здесь дом отдыха «Песчинка», граждане отдыхающие гуляют по тропинкам вдоль берега и ходят пить бывшую родоновую воду из артезианского источника. Бывшая она потому, что пробуренная еще в 1914 году скважина действительно дала фонтан минеральной целебной воды, но с тех пор обсадные трубы подгнили, к глубинной воде примешивается верховодка, и вкус ее далеко не тот, что был.

В брошюрке, изданной в 1915 году и посвященной здешней округе, о Выре сказано, что она, «без сомнения, лучшая дачная местность в верховьях реки». Все превосходные степени прилагательных, там употребленные, действительно и сегодня: деревья и в самом деле весьма живописны, но вот она, автодорога Петербург — Киев — Одесса, ревущая моторами с утра до ночи. Этакая развитая до самоотрицания сентенция древних — «дорога есть жизнь», тем более, что эта дорога — главная улица деревни. Выра сегодня известна благодаря своей почтовой станции, которую восстановили реставраторы. По старой памяти, станцию еще называют музеем «Дом станционного смотрителя», хотя какой там «дом» — теперь здесь больше десятка зданий и построек.

Строго говоря, из станционного комплекса до наших дней дошли только два

кирпичных дома, все же остальное — конюшни, сарай, кухня, шорная — построены заново. Сторонники «чистой» реставрации морщатся при одном слове «новодел». Это правильно, если речь идет о шедеврах. Пусть уж Ника Самофракийская парит над миром безголовая и безрукая, а десятая глава «Онегина» существует в обрывках. Но имеется целый разряд памятников, никак не шедевров, которые дороги сердцу, а не разуму, которые как пуповина соединяют нас с прошлым. Это памятники истории: бесчисленные городки и села с их улицами и погостами, дворянскими и крестьянскими усадьбами, постоянными дворами и мельницами, трактирами и баньками, мостами и гумнами.

Здесь долг реставратора представляется в воссоздании целого — пока мы еще помним, как оно выглядело, это целое; воссоздание со всем набором вспомогательных и сопутствующих элементов — только тогда памятник оживет и задыхит.

Музей «Дом станционного смотрителя» достаточно известен, однако в той же Выре есть один уголок, долженствующий быть дорогим русскому человеку, — за рекой, в тени парковых деревьев, так называемые «Нижние дачи». В одной из этих дач 18 лет прожил Иван Иванович Шишкин, и, по сути, все, что им создано в зрелый период творчества, — выношено здесь, вокруг Выры.

Здесь похоронил он и позднюю любовь свою, свою вторую жену, свою ученицу Ольгу Лагоду, одну из первых женщин, принятых в Академию художеств. На Рождественском старом кладбище сохранилась ее могила, и, кажется, мрамор надгробия еще помнит запах роз, которыми он каждое лето бывал усыпан, — уже старик, Иван Иванович носил их сюда охапками...

Портрет Ольги — это всем известная «Курсистка» Ярошенко, он и сам бывал у Шишкина в Выре неоднократно. А пятью верстами ниже по реке, уже в пределах Сиверской, — дача Ивана Николаевича Крамского: вот вам развернутая по Оредежу «опорная база» Товарищества передвижных выставок.

За Вырой, в глухих аллеях «Нижних дач» и дальше, на лесных взгорках, немало есть заветных, и каждый про себя мнит, только ему одному ведомых, мшистых полянок, где боровички в осенней паутине крепки и пахучи. Но не ради них собиралась тут деревенская молодежь летними вечерами, и горели костры на берегу, и пели, и августовский туман ощутимо был плотен и бел, а коростель-дергач печально скрипел всю ночь, оплакивая уходящее лето.

Собирались тут «на раки» — в августе, когда усатый бродяга перелинял, окреп,

панцирем и вылез из своих нор и щелей, промышляя, где что плохо лежит. Всего-то и нужно, что дохлая лягушка на веревочке да горящая головня из костра для света; и вот из черной водяной бездны лезут бронированные разбойники, и красным отраженным светом полыхают маленькие глазки, совершенно произвольно — жутковатое-таки зрелище! — поворачивающиеся на длинных своих стебельках. Вцепляются они в лягушку намертво, не бросая ее даже на траве, уже вытащенные на берег.

Некогда лавливали раков бельевыми корзинами, считали сотнями. На нашу молодость попало исчислить их десятками; сейчас счет идет поштучный и промысел угас — стало неинтересно. Да и жалко их, последних.

Этак неспешно прокатилась река мимо Рыбиц — деревни, ничем не славной, кроме роскошных пойменных лугов да щучьих заводей, мимо Межна, деревушки над оврагом, на холме. Здесь, на старом кладбище, сохранилась могила Мины Моисеева — этот тот, реальный прототип «Крестьянина с уздечкой» Крамского, который открыл собой целую галерею сермяжных богатырей.

Мина прожил 102 года и в жизни мужичок был невидный, невелик ростом, однако вот чудо искусства — теперь и навсегда останется в нашем представлении могучим и добродушным великаном.

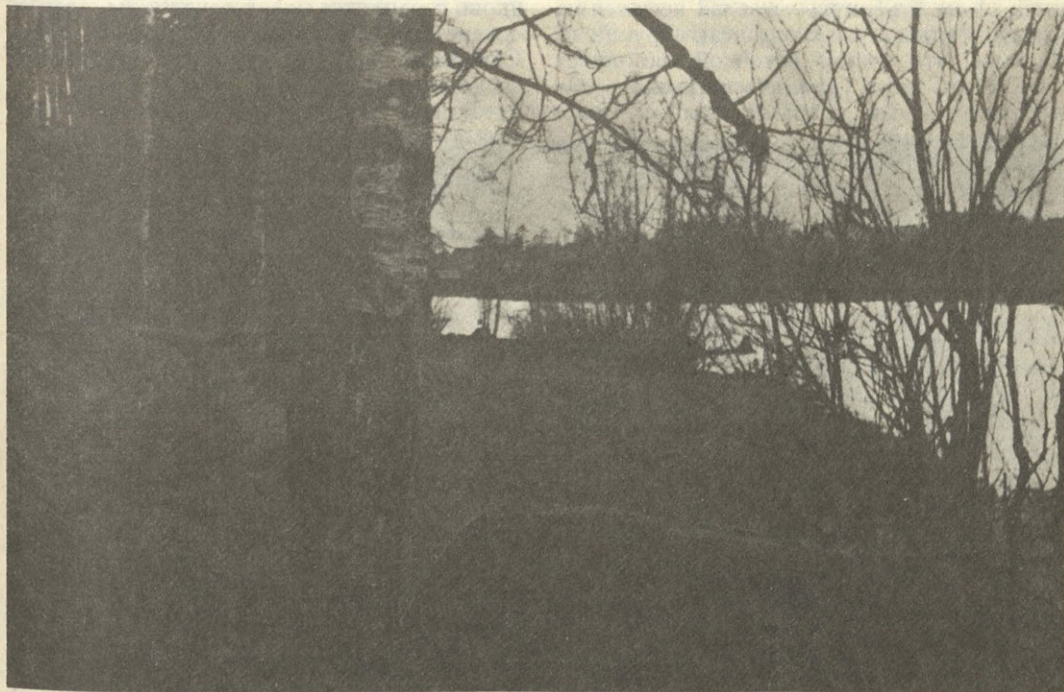
Здесь же, в Межно, жил и полесовщик

Иван Максимов — герой «Этюда в простреленной шапке», «один из тех типов... которые многое из социального и политического строя народной жизни понижают...», — как писал о нем сам Крамской.

До войны в Межно, в самой верхней части деревни, еще была жива, еще красовалась среди лип и дубов старого парка усадьба барона Черкасова. Сегодня от нее нет и следа, погибла в 1944 году.

Все-таки странная судьба у этих барских особняков, у дворянских этих гнезд. Построенные, по сути, на выколоченные из мужика деньги, эти дома были как бы памятниками социальной несправедливости, свидетелями коренного неравенства. И в этом качестве они должны были быть ненавидимы народной вольницей — и были ненавидимы ею. Сколько усадеб погибло в огнях отнюдь не стихийных пожаров!

Однако вот была в них, в этих усадьбах, и другая сторона, в том именно состоящая, что народные денежки и труд возвращались туда, откуда были взяты, и новопостроенный особняк включался в русскую деревню в качестве некоторой архитектурной изюминки, некоторого акцента. Через малое число лет деревня вполне усваивала этот какой-нибудь там ампирный новострой, и хотел он того или не хотел, но становился неотъемлемой частью деревни, на которую поглядывал свысока. А там и вовсе сживалось дворянское гнездо с избами, и уж трудно было



Пушкинский камень в Рылеевском парке

представить себе, как они друг без друга обходились раньше.

И потом, когда в огне войн или просту бесхозные, гибли эти ампиры и модерны, эти барокко и неогреки,—наши деревни корчились от этих потерь, от этих ампутаций и некая печаль страдания застыла на них, на их физиономиях и по сей день.

Да, еще издали и сразу заявляет о себе незнакомая деревня самым видом своим: сумела ли сохранить свою усадьбу, свою память, и вот, по уверенной распрямленности улиц, по осанке домов уже видишь—сумела, донесла; в просвете между липовых крон мелькнет крашенный голубым бельведер, окна полыхнут отраженным солнцем, а в первом дорожном звуке ухо уловит как бы голос полковой музыки.

В Сиверской было три усадьбы, три родовых гнезда, и ни одно не дожило до наших дней.

Прежде всего—усадьба князей Витгенштейнов. Еще в 1814 году местные дворяне, купцы и мещане откупили у казны огромный, в 17 тысяч десятин, кусок земли к югу от Сиверской. Местность эта практически незаселенная, леса перемежаются болотами, болота озерами—там настоящий водный лабиринт из семи озер, соединенных протоками, и болотных речушек с каскадами бобровых плотин. Самое большое озеро—Вялье, 18 км длиной, но мелкое, не глубже трех метров. Ты идешь по молочным прибрежным туманам к заветным бухточкам, где гуляют по подводным своим лесам щуки. А на брусничных увалах нежатся на солнце гадюки и ягода так крупна и обильна, что одной веточкой наполняет горсть,—на этих увалах встретишь тебя оглушительными ударами крыльев взлетающих глухарки.

Здесь—заповедник, и нетрудно представить, что собой являла полтора столетия назад эта территория, когда была подарена Петру Христиановичу Витгенштейну, герою и полководцу, «для устройства родового гнезда». И было устроено гнездо, и стало родовым в местечке с названием Дружноселье. И по сей день тут прекрасный парк с огромными лиственницами, пруды, аллеи и спокойной красоты костел святой Стефаниды, построенный Александром Брюлловым в 1834 году в память юной жены Льва Петровича Витгенштейна, урожденной Стефании Радзивилл. Она похоронена в подполе костела, который стал фамильной усыпальницей князей Витгенштейнов. Теперь в нем хранится картошка санатория «Дружноселье», и это, видно, «в признательность» потомков памяти героя восьмисот двенадцатого года.

Вторая усадьба, графов Сиверсов, располагалась на берегу Оредежа, в местечке, называемом Старо-Сиверским. Сиверсы

появились в России в начале XVIII столетия, сменив свое шведское подданство на российское через петровский плен. Графство же получили на русской службе еще через сотню лет. Фамилия эта дала России немало доблестных офицеров, и уже в советское время был славен красный военлет Рудольф Сиверс.

Третья усадьба—барона, а затем графа Фридерикса, этого «вечного» министра двора, пережившего трех императоров; эта усадьба располагалась неподалеку от железнодорожного вокзала. Вообще надо сказать, что Сиверскую как популярнейшее дачное место под Петербургом сформировала не столько река, сколько железная дорога. Строенная в пятидесятых годах прошлого века, она подключила к северной столице и этот небольшой поселок на Оредеже. И через малое число лет сюда хлынула волна дачников.

Конечно же, основную часть этой волны составляла публика ничем не примечательная. Но было немало и таких имен, которые известны любому образованному, да и просто читающему человеку. Полонский, Фет, Надсон, Гаршин, Плещеев, Алексей Толстой, Чуковский—в числе этих дачников. А Майков, Крамской, Салтыков—Щедрин имели в Сиверской собственные усадьбы. Так что, можно сказать, от того мужика, который один двух генералов прокормил, и до «Мухи—Цокотухи» многие и многие творения отечественной словесности рождены в Сиверской...

Вот, нижутся эти слова, сплетаются и вновь расходятся, и так хочется им сказать: остановитесь! Ну почему, скажите, нет в Сиверской хотя бы скромного краеведческого музея?

Волны человеческих нашествий прокатывались по этой земле, и каждая несла свою культуру, язык и обычаи. И каждая оставляла след—в названиях, именах. Финно-угры, славяне, шведы... А ведь мы даже предположительно не знаем, кто был до этого, кого можно назвать коренными местными жителями, на каком языке они говорили и как этот таинственный древний язык пророс, просочился в наше время странными звучаниями непонятных нам топонимов и гидронимов и тем сохранил себя, свое сущее.

Остановиться, подумать о времени и о своем месте в нем. Но река не умеет останавливаться, она уже скользнула дальше и отсюда окликает нас, будто уверена, что все отзовутся—и те, кто глядел в ее воды века назад, и ныне живущие, и те, кому еще надлежит быть рожденным и жить на этих берегах.

Потому что река, как время,—не видит собственного движения, это форма ее существования, и еще долго, долго быть реке: до самого что ни на есть синего моря...